

Игорь Куберский

# Двадцать лет спустя



Игорь Куберский

**Двадцать лет спустя**

«Институт соитологии (ИС)»

## **Куберский И. Ю.**

Двадцать лет спустя / И. Ю. Куберский — «Институт соитологии (ИС)»,

«До перестройки я был типичным совковским интеллигентишкой – вяло фрондерствовал, жил вполне, поскольку был глубоко убежден, что система, в которой нам довелось родиться и умереть, – она навсегда. От ощущения, что от тебя ничего не зависит, что государственный молох перемелет тебя в муку, стоит только залупить, я как большинство моих духовных корешей, просто коптил небо. Изумительная вертикаль советской власти десятилетиями крепила в нас инфантилизм и нахлебничество...»

© Куберский И. Ю.

© Институт соитологии (ИС)

## Игорь Куберский

### Двадцать лет спустя

До перестройки я был типичным совковским интеллигентиком – вяло фрондировал, жил вполне, поскольку был глубоко убежден, что система, в которой нам довелось родиться и умереть, – она навсегда. От ощущения, что от тебя ничего не зависит, что государственный молох перемелет тебя в муку, стоит только залупить, я как большинство моих духовных корешей, просто копил небо. Изумительная вертикаль советской власти десятилетиями крепила в нас инфантилизм и нахлебничество. Мы знали свое будущее до гробовой доски и положительность подобного знания заключалась в том, что мы не испытывали никакого страха перед завтрашним днем. Ведь он должен был быть таким, как сегодняшний. А сегодня у нас всегда было. И еще одно важное обстоятельство – власть интеллигенцию не любила, во всяком случае недолюбливала, и это было архиважно для нашего духовного самоутверждения, для объединения по признаку духовного родства. Мы были элитой в своей стране. Какие козни ни творила нам власть, мы всегда были на сцене, в свете рампы, а зал всегда был полон публики, жаждущей услышать про себя из наших уст. Хрущевство, брежневство, начало горбачевства – золотые времена; мы даже и не подозревали, насколько мы счастливы. Литературные, выставочные скандалы, постановления партии и правительства о состоянии дел в нашей культуре. Кого-то выслали, кого-то посадили, что-то закрыли, кого-то вернули и реабилитировали. Сколько внимания! Сколько ненависти, которая та же любовь! Мы были тростинкой, через которую погруженный в омут народ дышал нездешним воздухом свободы. Вы спросите меня, зачем народу, тем более русскому, какая-то там свобода, которой он никогда, представьте себе НИ-КО-ГДА не имел? Зачем человеку то, чем он никогда не пользовался и с чем не знает, как обращаться? А ни за чем! Видимо, просто так устроен человек – хочет того, чего у него нет. Думаю, мыслители, которых занимал этот вопрос, были правы, говоря, что свобода – коренное состояние человека. Но человека цивилизованного, добавил бы я, то есть хранящего в генах все этапы своей несвободы. Человека, для которого свобода – это сознательный выбор. Нас же бросили в свободу, как Муму в озеро. Помните анекдот про Муму? «Сдается мне Герасим, что ты чего-то недоговариваешь». Мы захлебнулись и пошли на дно. Мы не умеем плавать. То есть – абсолютное большинство. Известно, что талант бизнесмена, предпринимателя выпадает на один процент активного населения. Свобода, господа хорошие, была дана лишь этому одному проценту. Это и есть буржуазная свобода, с чем вас и поздравляю. Мы же стремились совсем к другой свободе – романтической, которая, как я теперь понимаю, невозможна по определению. И достижима только индивидуально – в медитации, в творчестве, в любви. И не раз и навсегда – а на время. Пусть даже многократно, но всегда точно. Бах! – поймел и потерял. Да, свобода – это как прыжок блохи, по кривой, с неизбежным приземлением. Иногда весьма небезопасным.

Однако моя беззаботная жизнь переломилась еще раньше, до перестройки. Я развелся, а за связь с одной первокурсницей меня выгнали из театрального института, где я преподавал историю искусств. Таким образом подспудная мечта моей жизни осуществилась, притом неожиданно и без всяких на то усилий с моей стороны – я стал безработным, то есть вольным художником. Оставалось только выяснить, чем я буду заниматься, так как ни преподавание, ни статейки в газетах на ближайшие годы мне не светили. Спустя полгода я порвал с первокурсницей, поскольку жениться на ней не собирался, и тогда же решил – на излете творческого возраста профессионально заняться живописью и самому испробовать тот эстетический эталон, к которому я призывал в своих писаниях разношерстную братию художников. Да и вправду казалось – коль скоро я все так замечательно понимаю про других, неужто сам не потяну. Вспоминались

примеры поздних стартов – Гогена например, или Анри Руссо. Это была авантюра, оправданная лишь в случае мощного духовного зова. Тогда мне казалось, что я позван и призван.

О, до самой смерти буду помнить те сладкие часы, что я провел у прилавков художественных магазинов, готовясь к своему живописному подвигу. Под стеклом пузатились тюбики с масляной краской, материалом, который мне предстояло освоить, было вдосталь уже хорошо знакомой мне гуаши и акварели, почти совсем не просматривалась дефицитная по тем временам темпера, впрочем, кисточек из свинячьей щетины, козьей шерсти и лошадиного хвоста, в отличие от колонковых и беличьих, хватало, как и растворителей – льняное масло, даммарный лак, пинен... господи, до сих пор эти слова музыкой звучат во мне, как и названия самих красок – сиена, капут мортум, тиюиндиги, церулеум, волконскоит, берлинская лазурь, – за некоторыми, довольно редкими гостями в наших магазинах, я охотился, как Набоков за своими бабочками... Не забыть дивный запах живописной художественности, источаемый этими материалами, как и картинами современных холстомарателей, висящими на стенах для продажи. Как просто, казалось мне, пойти дальше, чем эти равнодушные профи, увидеть глубже. Юношеское чувство собственной, пусть еще и не явленной гениальности. Абсолютное счастье заблуждения.

Я купил себе большой мольберт с жестяным дном и алюминиевыми ногами – как сладко будет выдвигать их, закреплять алюминиевыми же винтами, одновременно отмечая в остром угле, оставшемся для периферийного зрения, всплески листвы, уже окрашенной осенью, и жадно втягивая ноздрями этой острый влажный воздух как бы завершающегося пира природы, она же сама жизнь...

И вот, экипированный, как Амундсен, явился я в Москву. В пустой московской квартире – ее хозяйева, знакомые моих знакомых, работали в торгпредстве в Праге – стоял дух немалой по тем временам зажиточности, и беззащитность каждой вещи, умноженной в своей ценности товарным дефицитом той поры, как бы демонстрировала мне, вторгшемуся чужаку, безграничное доверие ее владельцев. В доверии этом, похоже, не было особого расчета, разве лишь знак элитной солидарности, преклонения перед избранным – художник из Ленинграда, искусствовед... А может, сказала тут и моя принадлежность к Театральному институту, об исторжении из которого добрые хозяйева едва ли получили информацию от моих добрых знакомых. Контрапунктом – увы, наше сознание небескорыстно и вечно находится в паутине причинно-следственных связей, как бы в тени кармы, – подпольной мышью поскребывалась мыслишка, что я приглашен на роль зрителя, точнее присматривателя. Ну да не все ли равно.

Однако что же делать начинающему художнику пусть даже и в первопрестольной? Я бы постеснялся раскрыть мольберт на виду у толпы. На случай патологической аматерной застенчивости у меня были ключи от дачи в поселке Семхоз, что всего лишь в одной остановке электрички от Загорска, то бишь Троице-Сергиевой Лавры, основанной преподобным Сергием Радонежским, о котором в ту еще безбожную пору почти не вспоминали. Кстати, повод поразиться феноменом памяти. Память – она помнит все, абсолютно все, но она служанка конкретного времени, ангажирована, вернее, детерминирована им, и выдает на поверхность только причитающееся моменту.

Итак, в прекрасное осеннее утро я проснулся на даче, один, как любимый писатель моей юности Юрий Казаков на своей даче в знаменитом Абрамцево, где бывали далеко не безразличные мне Гоголь, Тургенев, Врубель, Серов... Казаков умрет совсем скоро, в ноябре 1982, но я об этом узнаю позже, а тогда, в конце октября, каждый раз, проезжая мимо Абрамцево, буду возвращаться к одной и той же навязчивой идее: почему бы мне не сойти и не познакомиться с автором когда-то ошеломившего меня рассказа «Адам и Ева», по мотивам которого я и решил теперь разыграть дальнейшую свою судьбу. Никогда прежде у меня не было столь явной потребности в этой встрече. Будто каким-то непостижимым образом я чувствовал, что Юрий Казаков уходит. За окном, залитом розовым светом ослабевшего солнца, в легком

инее сверкал мой первый живописный пейзаж – уже обнажившийся кустарник у забора, сквозивший против света тончайшей вязью, серый, посеребренный штакетник, две избы за ним – одна боком ко мне, другая, что поглубже, – наискось, три полуоблетевших деревца, похилившийся сарайчик... Все это, слегка присыпанное первым, скорее случайно выпавшим снежком, разно освещенное и расцвеченное, разно удаленное от меня, представляло собой некое перламутровое видение, Абсолют, дивный образ, как бы подарок Всевышнего, – оставалось только бережно принять таковой из рук в руки, не пролив, не разбив, не рассыпав, то бишь перенести на холст, или, в моем случае, – на грунтованный под масло картон. Видение было таким сильным, что вызывало боль, от которой нужно было немедленно освободиться, как, да простится мне физиологичность сравнения, проснувшись, мы с отрядным вздохом освобождаем набухший мочевой пузырь.

Я потому столь подробно остановился на этом пейзаже, что он по сю пору у меня на стене, и представляется мне единственной работой, пробившей плотные слои моей бездарности и вышедшей на орбиту, где царит вечная красота и никто не умирает. Конечно же, и этот мой единственный пейзаж убог и никчем, но несколько его линий, два-три мазка, десятков нервных зигзагов, пропаханных деревянным кончиком кисти в масляном слое, свидетельствуют о том, как сотрясал клетку посредственности мой так и почивший в ней гений.

В Семхозе я прожил два месяца, время от времени наезжая в Москву, чтобы пополнить запасы кистей, красок и грунтованных картонов, а заодно пошататься по галереям. Я любил эти поездки в электричках, набитых людьми, к которым я испытывал нечто среднее по пафосу между стихами Пастернака «На утренних поездах», где он едва преодолевает к пассажирам свое обожанье, и «Москвой – Петушками» Венички Ерофеева, где они смотрят на него круглыми прозрачными глазами, ни за что не продадут, но ничего и не купят. Я смотрел на пассажиров, как на людей, которые молчат о том же самом, о чем молчу я. Это и значило принадлежать к своему народу. Я тогда еще не бывал за границей, но потом, когда стану бывать, как раз и пойму эту простую вещь.

Интересное дело – раз от разу московские галереи, что бы в них ни выставлялось, привораживали меня все больше и больше. Я словно становился профессионалом и теперь воспринимал картины не как обычный потребитель пищи для глаз, а как истец, заглядывающий под испод, под красочные слои, наложенные один на другой цветами радуги. Мне стало нравиться все, что прежде вызывало усмешку, и чем дальше, тем очевиднее становилась для меня собственная несостоятельность. Я как бы успел привзлететь над землей на своих слабых, как у курицы, крыльях. Но и этой нептичьей высоты хватило, чтобы увидеть, что путь, который я собирался пройти, гораздо длиннее, чем я думал, точнее, он не имеет конца... Мышь перед горой. Гора, родившая мышь. Нет, тогда, в тот месяц я еще не ерничал в свой адрес, и невежество мое было могучим побудителем к действию. Однако я непростительно забегаю вперед. В тот день, когда я писал маслом свою первую картину, мой гений был жив, и я был счастлив, когда через два часа передо мной дымился готовый картон, полный моих высоких и чистых вождений

Да и не таким уж я был олухом царя небесного – думаю, что теоретически я был подкован почище иного выпускника Академии художеств. Я проштудировал кучу всяких школ изобразительного искусства, я изучал секреты мастерства классиков живописи, я прочел тома с заметками художников о разных художественных приемах; особенно меня поразили наблюдения одного неизвестного мне мариниста – на десятке страниц он подробнейшим образом, с детализацией, на которую способен разве что пациент психушки, рассказывал, как формируется волна на водной поверхности, как она движется, к берегу, как освещена сверху, сбоку и у основания, и что, собственно, с точки зрения цветовой гаммы (палитры) представляет собой феномен воды. Я вдруг обнаружил, что любая достойная внимания вещь – будь то карандашный рисунок, акварель или масло, несет на себе печать этого параноидально пристального рас-

сматривания людей и окружающих их предметов в стихии воздуха, земли и воды. Я вдруг понял, что художники совсем иначе видят, чем мы, простые смертные. Вещный, материальный мир вдруг распался передо мной на невесомые составляющие – цвет и свет, – и, становясь перед мольбертом, я чувствовал себя Творцом, пересоздающим (воссоздающим) мир из этих едва ли материальных субстанций. Невозможно было запомнить все щедро поведанные мне открытия, а до кое-чего я дошел и сам, – и каждый раз это было как чудо, когда всего лишь мазок верно найденной краски превращал мертвый кусок холста в сверкающее жизнью пространство, а одна точная карандашная линия оживляла телесную плоть. Теперь в музеях я стал тут и там наткаться на примеры необыкновенной, непосильной для меня изобразительной дерзости мастеров далекого прошлого, и даже решил, что в искусстве нет прошлого, то есть нет однонаправленного, как у времени, движения, где настоящее всегда предпочтительней, поскольку как бы возглавляет процесс... Нет, большое искусство – все оказалось для меня в настоящем, это был как бы парад красоты под музыку восхищения жизнью, дарованной теперь вот и мне.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.